

Место действия романа — металлургический комбинат на Урале. Герои произведения — наши современники. Писатель обобщил опыт своего поколения — производственный, социальный и нравственный.

Откровения Антона Готовцева

о своей молодости и любви, мысленно обращённые к Марату Касьянову, а также ещё к кому-то неизвестному, возможно к вам, и извлечённые мною, Инной Савиной, из его тетради (фрагменты)

1.

Я мечтал занять угловую парту возле окна, да обрыбился: ты сидел здесь весь прошлый учебный год и специально прискакал пораньше — захватить её для себя и Инны Савиной. Так ты и сказал. И хвастливо скользнул кулаком по русым с позолотой усикам. Твоя востроглазость не

понравилась мне. И я воспринял её как отражение наглова- того самолюбия.

Но я не стал торжествовать, когда Инна, встреченная тобою в дверях класса, не пожелала сидеть на «галёрке». То ли дело передние парты: всё расслышишь, каким бы слабым голосом ни говорил учитель, и всё разберёшь, что напишут на доске. Ты не разгневался, не ущемился. Ты растерялся: её *финт* был слишком неожиданным.

Ты не мог заметить, что я оскорбился за тебя, едва она, шмякнув на парту портфель из свиной кожи, пошла в коридор.

Ты стоял, потупив взор в обшмыганные половицы. Ты страдал от собственной непрозорливости. А она шла, не испытывая ни застенчивости, ни раскаяния. Её шаг был бестревожно звóнок, словно не она только что испортила тебе настроение. И были на ней довоенные алые туфли на французском каблуке, и гольфы стального цвета, и колокол чёрной юбки, и сизого атласа блузка, по бокам которой с посвистом возносились дутые рукава.

Я не объясню сейчас, что заставило тебя приобнять меня за плечи и подвести к парте, половину которой заняла Инна.

Я отстранился, хотел сесть за первую парту, но вдруг оттеснил тебя и сел за вторую, и меняшибанул по ноздрям запах свиногокожего портфеля.

Не допускаю, чтоб ты посадил рядом с Инной парня, способного на соперничество. Ты был высок, брился, лишь оставляя усики, в ершистой шевелюре простреливалась се-дина. Позже я узнал: возрастная разница у нас чуточная, полтора года. Вероятно, мои гладколикость и миниатюр-ность не вызывали твоей ревности?

А может, это было проявлением мести? Издавна ведь вымещают люди на невинных собственные неудачи. Вот и отдал ты меня в рабство её дыханию, похожему на аромат сон-травы, карим глазам с коричневатым белком, неожиданной при таких глазах розовой белизне щёк и детской белокурости. Если она прислоняла плечо к моему плечу и

так, как бы не ощущая этого, сидела минуту-другую, то потом, едва отклонялась, я сторал от боли, будто она не просто отклонилась, а вырвала мою руку из плеча.

Впрочем, иногда мне кажется, что ты привёл меня к парте Инны, чтоб наказать себя за огорчение, по непредусмотрительности принесённое желторотому новичку с чёлкой по брови.

Я не завышаю тебя, Марат, тогдашнего. Ты молча подавлял меня своей привычной заносчивостью. А я, лопухий простяга, чем я мог ответить на заносчивость? Я терялся и был себе постыден. Хватило совести влюбиться в Инну, когда уж ты её любил. Честный человек ни за что бы не влюбился.

2.

Думая сейчас о тебе, я неизбежно исхожу из своего нынешнего разумения, хотя уверяю себя, что и в ту пору понимал всё это. То-то, что не всё.

Ты без спроса выходил из класса во время уроков. Я предполагал: учителя не препятствуют твоим отлучкам, руководствуясь неразглашённым распоряжением директрисы. Чаще всего ты выходил из класса на математике: она давалась тебе легче лёгкого, даже контрольные работы по стереометрии с применением тригонометрии ты делал быстро.

Однажды таким же, как ты, манером я попробовал улизнуть в коридор, но напоролся на окрик математички:

— Готовцев, ты куда?

— Язва, — пробормотал я.

— Кто?

— У меня.

Зимой мы не снимали верхнюю одежду: в войну был скуден топливный паёк школы, — поэтому курили в наступленном зальце раздевалки. Туда я и направился и застал тебя за мальчишеским занятием, которое не вязалось с задиранием носа. Сразу-то я не сообразил, чем ты занимаешься. Ты стоял в полунаклоне, вроде бы пытаешься угодить

кончиком указки во что-то уворачивающееся. Ты вскинул указку вверх, снял с её кончика незримую частичку, опустил в кленовый портсигар. Мгновением позже ты присел на корточки, заскользил фибровыми подошвами ботинок по метлахской плитке, явно ища что-то молекулярно-крохотное. Едва ты поднялся, тщательно потыкав указкой в пол, я пронырнул в залик. При шорохе шагов ты спрятал указку за спину и внушил себе высокомерную осанку: не подступишься ни с чем.

В мою душу будто вселилось неукротимое любопытство, я забежал тебе за спину, а ты повернулся, я опять забежал, и ты стал вращаться, я же гонял вокруг, словно на привязи. Либо терпение иссякло, либо закружился, только ты гневно прошептал:

— Зануда, смотри.

Я увидел возле своего носа пронзённую махорочную крошку; ушко иголки было воткнуто в указку.

Накануне я рубил в деревянном корытце махорку. Табачные корни запас осенью, висели в будке под потолком. Посуху я ездил в лес за груздями, вместо груздей привёз корзинку табака, нарезанного у деревни Великопетровки.

Ненароком я подстерёг не только твою страсть курить, но и состояние нужды, которой ты стыдился и которая опростила тебя до умоляющей просьбы:

— Не трепись, ладно? Целые сутки без курева. Мозги пухнут.

— Сворачивай козью ножку.

— По какому случаю?

— Махры насыплю. М-му! Дёрнешь — не отдышишься.

— Насыпал бы на воробьиную лапку, Не сболтни, ладно, как я промышлял табачинки?

— В заводе того нет — язык распускать.

Ты не пожадничал: свинтил малообъёмную козью ножку, зато она была красивая — напоминала изгибистый мундштук. Ты задыхался, куря, и настолько опьянел, что шёл в класс, будто отыскивая в тумане разрывы, выводящие к свету.